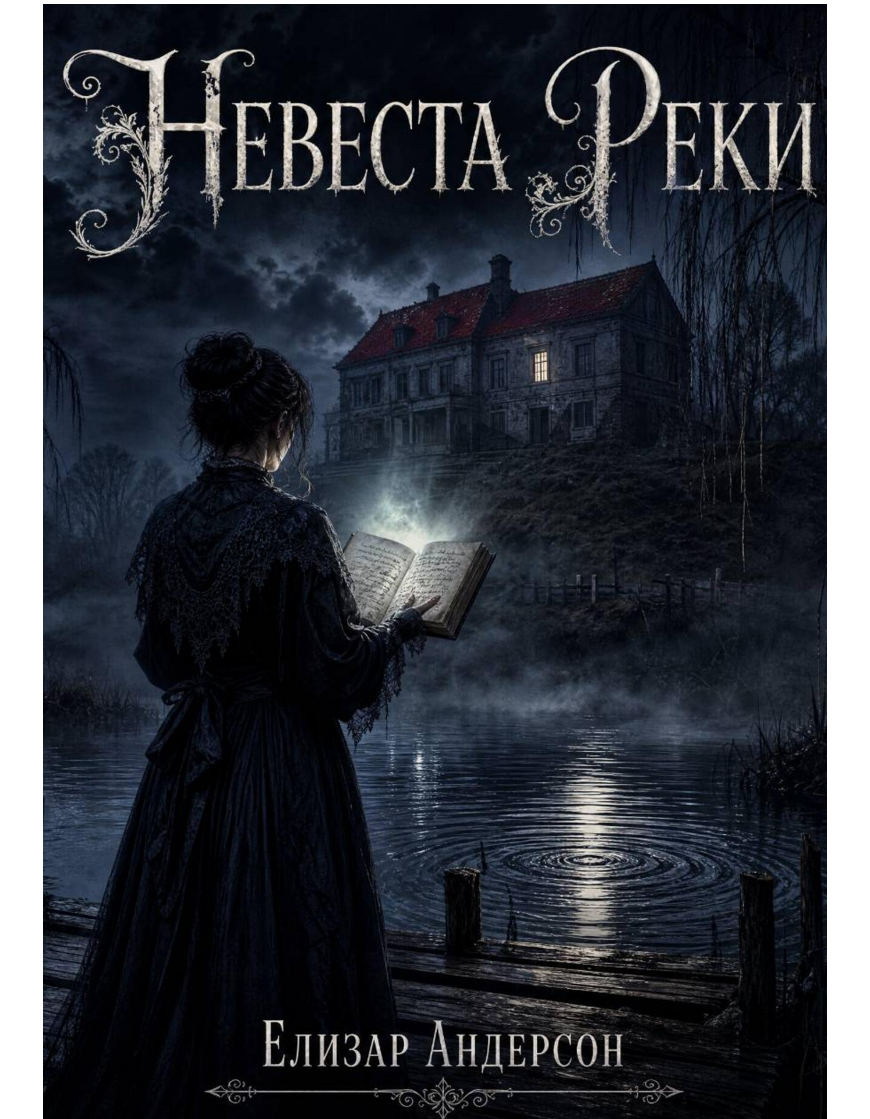


НЕВЕСТА РЕКИ



ЕЛИЗАР АНДЕРСОН

Елизар Андерсон

Невеста Реки

<https://litres.ru/74532737>

SelfPub; 2026

Аннотация

Таисия Лаптина, краевед из Нижнего, бежит от мужа-насильника в Берёзовку — писать книгу о купеческих усадьбах и заодно стать никем. В архиве она находит обгоревший дневник Евдокии — невесты Артамона Ветрова, которого легенда утопила на броде в 1873-м. Дневник ведётся по правилам двойной бухгалтерии: слева приход, справа расход. И расходы записаны не деньгами. Дневник отвечает на полях и знает о Таисии больше, чем она успела рассказать. Единственный, кто не считает её сумасшедшей, — Арсений Ключников, последний хранитель брода, умеющий слышать реку. А между тем чужак с деньгами скупает землю у воды и ищет клад Артамона — и находит то, что Артамон прятал не от людей. Две ночи на Купалу — 1873-го и настоящей — сойдутся над полыньёй, где река дышит. Тёмная романтика о долге, который предъявляют мёртвые, и о любви, которая не решает за тебя. Продолжение романа «Дом над чёрной рекой» — читается самостоятельно.

Елизар Андерсон

Невеста Реки

ЕЛИЗАР АНДЕРСОН

Невеста реки

роман

2026

АННОТАЦИЯ

Таисия Лаптина, краевед из Нижнего, бежит от мужа-насильника в Березовку — писать книгу о купеческих усадьбах и заодно стать никем. В архиве она находит обгоревший дневник Евдокии — невесты Артамона Ветрова, которого легенда утопила на броне в 1873-м. Дневник ведется по правилам двойной бухгалтерии: слева приход, справа расход. И расходы записаны не деньгами. Дневник отвечает на полях и знает о Таисии больше, чем она успела рассказать. Единственный, кто не считает ее сумасшедшей, — Арсений Ключников, последний хранитель броды, умеющий слышать реку. А между тем чужак с деньгами скупает землю у воды

и ищет клад Артамона — и находит то, что Артамон прятал не от людей. Две ночи на Купалу — 1873-го и настоящей — сойдутся над полыньей, где река дышит. Темная романтика о долге, который предъявляют мертвые, и о любви, которая не решает за тебя.

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог

Глава 1. Приезд

Первый вставной эпизод. Сестра

Глава 2. Архив

Второй вставной эпизод. Северная комната

Глава 3. Невеста

Третий вставной эпизод. Мельница

Глава 4. Хранитель брода

Четвертый вставной эпизод. Библиография

Глава 5. Ответка

Пятый вставной эпизод. Та ночь

Глава 6. Кладовая

Шестой вставной эпизод. Книга 1934 года

Глава 7. Семья Ключниковых

Седьмой вставной эпизод. Письмо Антонины

Глава 8. Раскопки

Восьмой вставной эпизод. Семья Сойкиных

Глава 9. Вероломство

Девятый вставной эпизод. Архивные будни

Глава 10. Муж

Десятый вставной эпизод. Третий

Глава 11. Купала-73

Одиннадцатый вставной эпизод. Новоселье

Глава 12. Отъезд

Двенадцатый вставной эпизод. Год в Одном доме

Глава 13. Финал дневника

Тринадцатый вставной эпизод. Птица

Глава 14. Полночь над полынью

Четырнадцатый вставной эпизод. Итог

Глава 15. Расписка

Пятнадцатый вставной эпизод. Читатель

Глава 16. Проводка

Шестнадцатый вставной эпизод. Слова

Глава 17. Проводы

Семнадцатый вставной эпизод. Новолуния

Глава 18. Весна

Восемнадцатый вставной эпизод. Чай

Глава 19. Оглавление

Девятнадцатый вставной эпизод. Первый снег

Глава 20. Именины

Двадцатый вставной эпизод. Вода

Глава 21. Новолуние

Глава 22. Лето

Эпилог

Послесловие автора
Благодарности
Форзац

ПРОЛОГ

Из дневника Евдокии Артамоновой, урожденной Сойкиной. Последняя запись. Ночь на Купалу 1873 года.

Приход и расход — это то, что остается, когда все остальное сняли с рук.

Я выучила это у мужа. Он вел две книги: одну — для людей, другую — для себя, и между ними ходил, как по броду, только брод его держал, а людей — нет. Сегодня, в ночь на Купалу, я стою на том самом броду с его второй книгой за пазухой и понимаю то, чего не понимала три года: он вел еще и третью. Ее вела река. Вся эта вода, черная под луной, — один сплошной расход, и записи там мои.

За спиной, на холме, горит один-единственный оконный свет — кладовая с тремя замками. Муж не спит: он ждет лодку. Лодка не придет, потому что я сегодня днем, молча, как примеряют траур, сломала ей весла и положила их на место, где лежала раскаленная печка. Он заметит не сразу. Он не привык, чтобы его считали.

А я привыкла. Я, Евдокия, дочь плотинного мастера из Верхних Плесов, выученная отцом одному: «вода всегда сходится балансом — либо ты, либо тебя». Три года я вела его

хозяйственные книги, милые книги, книги с хлебом и маком, и думала, что вижу его дело. А дело шло по воде, и вода наше дело не забывает.

Слышите? Нет. Вы не слышите, а я слышу: брод стоит, вода под настилом дует сквозь щели, как сквозь зубы. Идет кто-то. По воде — нет, так говорят только в поселковых сказках, а я больше не верю сказкам, я поверила бухгалтерии. По настилу идет. Один человек. Не муж — муж стоит в кладовой и греет спину о печь, я знаю его ожидания лучше, чем он сам. Кто-то третий. В этой истории всегда есть кто-то третий, это я тоже вычла из его книг.

Я держу свечу низко, чтобы не дать ветру. Иду навстречу. Воды, думала я раньше, бояться не надо: вода — счет, а счет всегда можно проверить. Сейчас, когда настил дрожит под чужой поступью, я думаю иначе. Счет можно проверить, если ты уцелеешь до утра. А утро здесь бывает только одно из двух.

Если кто-нибудь когда-нибудь найдет эту тетрадь — знайте: расходы мои начались раньше, чем приход. И расписка, что закрывает мой долг, лежит там, где река может ее предьявить. Не ищите меня в воде. Ищите в проводках.

Е. В.

(далее в дневнике три страницы вырваны. Края обожжены.)

ГЛАВА 1. ПРИЕЗД

Последнее, что я сказала мужу, было: «Я уезжаю писать книгу».

Он тогда смеялся. Григорий — доктор наук, человек большой библиографии и маленького терпения, — любил мою работу краеведа ровно настолько, насколько она делала ему честь на конференциях: «Моя жена пишет о купеческой культуре региона». Краевед из него вышел бы плохой: регион для него заканчивался там, где заканчивался его кабинет, а все, что за окном, он называл «полевым материалом». Когда я сказала про книгу, он захохотал и ударил ладонью по столу — не по мне, по столу; он всегда умел в дистанцию, — и сказал: «Наконец-то ты займешься чем-то серьезным. Только не вздумай вернуться без главы про мой родной город».

Я не вернулась. Вообще. Это было полгода назад.

Меня зовут Таисия Лаптина, мне тридцать один год, и если бы кто-нибудь год назад сказал мне, что я буду считать свободу в электричках — я бы не поверила. Свобода оказалась очень похожа на командировку: та же сумка, тот же вид из окна, только страха больше и адресатов меньше. Я ехала из Нижнего в Березовку — райцентр такой, Березовский район, поезд до областной, дальше перекидной автобус, а дальше, как сказала мне женщина в кассе, глядя на меня как на человека, который едет не туда: «До Березовки идет один. На семь ноль-ноль. Дальше — сами разбирайтесь».

Разбиралась я долго. Потому что «сами разбирайтесь» — это, как оказалось, не указание, а погода. Сначала автобус выронил меня у поворота на трассу, потом я час стояла под осоками, а потом остановилась «Волга», рыжая, вся в глине, с водителем, который сразу сказал:

— В Гать едешь?

— В Березовку. Но если по дороге — можно и к Гати посмотреть.

Он посмотрел на меня в зеркало — долго, изучающе, как смотрят на попутчика, которого еще не решились спросить, куда едет. Я этот взгляд уже знала. За полгода я научилась его узнавать: мужчины смотрят так на женщин, которые едут одни и не знают, куда. Только в этот взгляд, в отличие от других, не было ничего лишнего. Было что-то вроде уважения.

— Смотреть — можно, — сказал он. — А вот жить там, где ты собралась, московская, нельзя. Я Митрич. Прораб. А ты — к Пелагее, да?

— Откуда вы знаете?

— Она одна сдает. И одна не выгоняет. — Он тронул машину. — Сажайся. Дорога одна, разговоров много не бывает.

Дорога и вправду была одна, а разговоров вышло ровно столько, сколько я люблю в полевых поездках: минимум. Митрич рассказал только, что едет «к бригаде, крышу крыть», и что в Березовке «теперь не туда зыркать, куда раньше зыркали». Когда я спросила, куда раньше, он молчал ровно столько, чтобы я поняла: это был вопрос из тех, на кото-

рые в этих местах отвечают Пелагея Ивановна, а водители только везут.

— Крышу крыть — это в Черную Гать? — спросила я, потому что по собственной книге я знала: в Березовском районе славится одна усадьба, купеческая, Артамонова, над рекой Ветшанкой. Я приехала ради нее. Ради нее и ради того, чтобы Нижний не видел меня больше никогда.

— Крышу крыли, — буркнул Митрич. — Прошлым летом. Красную.

— Красную?!

Он впервые усмехнулся.

— А чего? Говорят, на Гати теперь хозяйка такая. Приехала из Москвы, выгнала всех, кого надо, взяла всех, кого не надо, и крышу заказала красную, как у постоянного двора. Спорил я с ней. Говорю: красная — к пожарам. А она: к пожарам — трусы. — Он покачал головой с нездоровым уважением. — Победила. Обычно побеждает.

Я записала в тетрадь: «Гать восстановлена, крыша красная, хозяйка московская, характер — завоевание». Митрич коснулся кепки.

— Ты уж если пишешь про усадьбы — напиши и про людей. Про одних пишут в книгах, другие книги носят. Так честнее.

Поселок встретил меня запахом дыма и тишиной — раннее лето, липа еще не цвела, но воздух уже готовился. Покосившиеся заборы, лавка, дед с тележкой, который проводил

«Волгу» взглядом до самого поворота, и ни одной живой души, которой было бы все равно, кто я такая и зачем приехала. Я это поняла сразу: деревня смотрит не на чужаков — деревня смотрит на маршруты.

Пелагея Ивановна оказалась женщиной с лицом, которое умеет улыбаться, и глазами, которые все взвешивают. Она открыла дверь раньше, чем я постучала, потому что «почта предупредила» — я так и не выяснила, какая почта предупреждает о приезжих, но в Березовке, похоже, работала служба, о которой в Нижнем не знали.

— Лаптина, — констатировала она вместо «здравствуйте», глядя поверх очков. — Таисия. Тридцать один. Пишешь книгу. Муж — профессор, бьет?

Я стояла на пороге с сумкой и не нашла, что ответить. Она взяла у меня сумку — одним движением, без спроса, как берут свои.

— Все бегущие от мужей так смотрят, — сказала она уже легче. — Как будто за ними вот-вот должна примчаться справка. Приезжай, душенька. Комната теплая, окно во двор, чай — сама заварю, с липой, липу я прошлым летом заготовила, весь поселок липой дышал. — Она повела меня по коридору, и я шла за ней, как за человеком, который уже решил за меня все, что можно было решить, и от этого мне было отдышно впервые за полгода. — И не бойся: у меня спрашивают все. Про тебя спрошу — не обессудь. Так тут заведено: спрашивают дважды, потом переспрашивают.

Комната была маленькая, чистая, с вышивками на стенах и кроватью, которая скрипнула подо мной как старая собака, легшая на свое место. Я села на край и вдруг почувствовала, что плакать буду не сейчас — позже, вечером, при чем-нибудь нейтральном, при чайнике, например. Плач, откладываемый на вечер, — это роскошь, которой нет у женщин, которым еще предстоит возвращаться домой.

— Дома звони, если есть кому, — сказала Пелагея, ставя на стол чайник. — А если некому — не звони. Я в молодости тоже думала, что надо кому-то объяснить. Объяснять — самая дорогая привычка, душенька. Дороже табака.

Чай был с липой, и он был лучше всего, что я пила полгода.

К вечеру я вышла гулять — профессиональная привычка краеведа: поселок надо проходить ногами, пока он не понял, что ты записываешь. Березовка лежала на двух холмах, с колодцами у каждого поворота, и вести себя ей полагалось тихо. Я спустилась к реке — Ветшанка текла черной, узкой, будто полоса туши, проведенная по земле, — и тут увидела ее.

Гать стояла на своем холме, и от нее до воды спускался вымощенный кирпичом склон, и крыша у нее была красная. Не алый, не кирпичный — красный, ровный, хозяйский, такой, каким бывает правда, если ее наконец сказали. Я стояла на берегу и смотрела, как вечерний свет идет по воде к самому броду, и думала о том, что в Нижнем я тоже каж-

дый вечер смотрела на воду — на Волгу, широкую, равнодушную, которая не спрашивает, кто ты и от кого уехал. Ветшанка спрашивала. Я чувствовала это без всяких оснований, чистым нутром, как чувствуют под плесенью соль.

— Тысяча восемьсот семьдесят третий, — сказал голос за моей спиной. — С этой стороны, с воды, дом ей и носил гору.

Я обернулась. На тропе, у самого брода, стоял мужчина с удочкой — высокий, сухой, в рубаше выцветшей до цвета речного песка. Он смотрел не на меня — на дом, и во взгляде этом было то, чем смотрят на старые фотографии: проверяя, все ли на месте.

— Простите? — спросила я.

— Артамон Ветров построил дом в семьдесят первом, — сказал он, все еще не глядя на меня. — А отсюда, с реки, его жена проверяла, когда он возвращается. Евдокия. Она погибла в семьдесят третьем. Утоплена, говорят. — Он наконец повернул голову. Глаза у него были серые, и смотрел он так, будто я уже давно стояла в его поле зрения, просто он решил, что пора отметить. — Ключников, — сказал он. — Арсений. Я тут живу. — Пауза, в которую поместилась вся река. — Нас тут всех так зовут. Ключниковых. Веками.

И он пошел вдоль берега, не сказав ни «до свидания», ни «приходите», оставив меня стоять с чувством, которому я не знала названия: я приехала за усадьбой, а меня уже внесли в какую-то книгу. От руки. Без всяких моих согласий.

А вечером, когда я возвращалась к Пелагее, красная кры-

ша Гати погасла последней — как зрачок, который дождался, когда все уйдут, и закрылся.

Я тогда еще не знала, что дневник Евдокии лежит в райцентре, в архиве, в обгоревшей шкатулке, и что он уже знает мое имя. Я не знала, что у реки есть правила, и что мужчина с удочкой умеет их слышать. Я знала только одно, наверняка, с кровью, а не с умом:

дом на холме меня заметил.

А в этих местах, как мне объяснила потом Пелагея Ивановна, разглядев чай в моей чашке, — замеченные не уезжают. Остаются в проводках.

ВСТАВНОЙ ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. СЕСТРА

Эту историю Арсений рассказал мне одним вечером, когда мы сидели у него в горнице, и дождь шел такой, что река не различала себя под ним, — и я поняла, что он никому ее не рассказывал никогда. Он говорил долго, с провалами, и я записывала потом, по памяти, потому что некоторые истории нельзя записывать в момент: они, как блеск на воде, гаснут от карандаша.

— Клава родилась, когда мне было четыре, — начал он. — Я помню ее появление в доме слабо, помню точнее то, что помнят все дети, у кого рождается младший: меня переставили. С кровати — на лавку, с лавки — на сундук, с центра дома — на край. Так что я обид на нее не имею: я к этому

времени уже стоял у брода. Трех лет от роду. Мать потом рассказывала соседкам: «вышел во двор, стал посреди, смотрит на воду и не плачет». Я не плакал потому, что слушал. Я слушал раньше, чем знал, что слушаю — так дети слушают мать, еще не зная слова «мать».

Клава пошла в мать. Мать наша, Анна, — тихая женщина с глазами цвета зимней воды, — она слушала по-своему: редко, как слушают церковь, по праздникам. В нашей семье умение идет через поколение, отец говорил: «у меня — от отца, у сына будет — от меня, а вот у дочери... — и пожимал плечами». Дочери, по его мнению, вообще шли в разнос: в чужие дома, в чужие фамилии. Клава родилась — и пошла не в разнос. Клава пошла вниз.

Первый раз это случилось в ее семь лет. Она играла у воды — не у брода: я запрещал ей брод, как волк запрещает своим выходить на лед, — а у тихого завода, где купались малые. И вдруг — я стоял на холме и видел — она подошла к воде, посмотрела в нее и начала плакать. Не испуганно: жалобно, как плачут о чужом. Я подбежал, оттащил — она не сопротивлялась, только сказала: «там бабушка лежит. бабушка Варвара. ей холодно». — Арсений помолчал. — Бабушка Варвара лежала на кладбище, позади заводи, на сухом месте. В земле. Клава не знала, где кладбище, — я ее туда не водил, ей нельзя было. Она увидела бабушку Варвару сквозь четыре сажени воды и метр торфа. И заплакала ей.

Мы с отцом посидели вечером, помолчали — наш семей-

ный способ совещаться, — и решили: как есть. Мы не из тех, кто везет детей к знахарям и по уездам. У нас, у Ключниковых, умение — это работа: кто умеет слушать — слушает, кто умеет видеть — видит. Просто кто видит — тому страшно.

Она росла, и страх рос вместе с ней. Я теперь понимаю: мне легко. Я слушаю реку, а река — она большая, она вся течет, у нее нет лица. А Клава видела то, что под водой: она видела лица. Она видела утопленников — их в нашей Ветшанке не так много, за сто лет человек двадцать, — она видела их всех, каждого в его месте. Она знала их имена. Не знаю, как — может, вода говорила ей, как говорила мне, только слушала она иначе, — но она приходила с берега и говорила: «там, у третьей рясы, дядька Ефрем. он лежит с ладонью вверх, у него в ладони гвоздь. он хочет, чтобы гвоздь отдали сыну». — Арсений посмотрел на меня. — Я ходил на третью рясу. Копал. Не нашел дядьку Ефрема. А гвоздь нашел. Старинный, ручнойковки. Я отнес его в поселок, спросил — оказалось, Ефрем плотинный был, утонул в сорок девятом, сын его живет на окраине, плотник. Я отдал гвоздь. Плотник взял, молчал, а потом говорит: «откуда?» Я говорю: «сестра видит». Он кивнул и запер дверь. Больше со мной не здоровался. А гвоздь, говорят, вмазал в горбыль покрепче всех гвоздей в доме.

Ты спрашиваешь, зачем я тебе это рассказываю. Рассказываю для того, чтобы ты поняла Клаву. Она не трусиха. Она

— человек, который видит чужие долги и не может их закрыть. Это, между прочим, самая тяжелая работа на свете: видеть чужое и не иметь права расплатиться.

А дальше был пожар. Ей было одиннадцать.

Мельница горела — та самая, артамоновская, что стояла у брода. Ветер дул на воду, мельница была деревянная, — горела, как свеча. Все бежали тушить: и я бежал, и отец, и весь поселок. А Клава — Клава побежала не к мельнице. Она побежала вниз, по берегу, к самой воде, и встала там, под дымом, и смотрела в реку. Я ее нашел такой. Я думал — испугалась. Она говорит: «Арсений. там их трое. они под мельницей лежали — она на них упала. они просят ее поднять». — Мне было семнадцать, я уже слушал реку, как умею, — и я скажу тебе честно, Таисия: я отвел ее от воды за руку, завел домой и сам пошел к отцу, и весь вечер мы с ним молчали, а ночью мельница догорела. Трех под ней не было. Ни до пожара, ни после — по крайней мере, не нашли. Я съездил потом в уезд, по старым бумагам посмотрел: кто, когда... Возле той мельницы в книгах не значится никто. Триста лет она стояла, — не значится.

Вот тут, признаюсь, мне стало не по себе — не от Клавы. От мельницы. Река нам все рассказывала — а про мельницу молчала. Одна, про одно место — молчала. Я тогда впервые понял: река молчит не только о должниках. Река молчит о местах, которые не ее. — Он помолчал, перебирая слова, как камешки. — Мельница не была водяной. Ее строили не по-

нашему. Я тогда этого не знал. Знал позже — ты сама догадываешься, откуда.

А Клава после пожара перестала ходить к воде совсем. Не сразу: сначала не ходила к броду, потом — к заводи, потом — вообще. В шестнадцать уехала в райцентр учиться, в двадцать два вышла замуж — за райцентретного, учителя физики, — и уехала окончательно. Приезжает на лето. Сидит на берегу — не у воды: на холме, откуда видно. Говорит: «мне здесь громко». Я ей: «здесь тихо, Клава». Она: «тебе тихо. а мне — громко. у меня внутри все они, Арсений. дядька Ефрем, трое под мельницей, Евдокия — я ее видела, знаешь? у полыньи, там, где вы с вашей краеведшей копались. стояла в воде по колено и смотрела на меня. не мертвая — живую. и пальцем по воде писала: «скоро». — Арсений обернулся ко мне. — Вот поэтому я не водился ее к броду никогда и вас не пускал копать. Не от воды я ее берег. От Клавы. Видеть живых — это хуже, чем видеть мертвых. Мертвые хотя бы никуда не спешат.

А теперь — ты знаешь, что было на Купалу. Она приехала через неделю после. Впервые за тридцать лет сошла с холма к броду. Встала у воды, долго стояла — а потом сказала то, о чем я тебе не рассказывал, потому что не умел выговорить при поселке: «Тихо, — сказала она. — Впервые за сорок лет — тихо. Ты не слышишь, а я слышу: их нет, Арсений. Все они — ушли. Ефрем, трое... Евдокия — она писала «скоро» не мне. Она писала, что сама уйдет скоро. Все, братец. Вода

— просто вода». — Он замолчал, и дождь грохотал по крыше, и река, невидимая в нем, шла куда-то вниз, просто река.

— Она нарисовала вас, — сказал он наконец. — Картину. Тебя на настиле, меня с удочкой. Художница из нее — она всю жизнь рисовала, я ж не говорил. Рисует все, что видит — чтобы не видеть. Картины висят у нее по всему дому, в райцентре, а эту — одну — привезла и подарила Пелагее. Ты видела. Сестра, говорит, — не дарит. Расплачивается. Она всю жизнь видела чужие долги, — и вот впервые кое-что закрылось. Вот она и расплачивается. Как умеет. Картиной.

Я сидела в его горнице и думала о том, что в этой семье каждый расплачивается как умеет: прадед — отсутствием, дед — книгами, отец — злобой, Арсений — молчанием, Клава — картинами. И что умение — это, оказывается, не дар и не работа. Это — форма любви, которой в семье не нашли другого слова.

ГЛАВА 2. АРХИВ

Райцентр оказался городом, который не решил, город он или поселок, — и от этой нерешительности в нем было уютно: две прямые улицы, дом культуры с облупленной звездой, администрация с флагом, который помнил все ветра, и здание архива — одноэтажное, кирпичное, с надписью над входом, выведенной когда-то очень уверенным человеком: «История края хранится здесь». Внутри пахло мелом, клеем

и десятилетиями. Мне это пахло дома: у отца в мастерской пахло стружкой, у мужа в кабинете — ксероксным тонером и правотой, а история — история пахла вот так, и я втягивала этот запах, как после долгого плавания втягивают берег.

Заведующая архивом, Валентина Марковна, оказалась женщиной с видом человека, который знает, где что лежит, но скажет об этом только тем, кто спросит правильно. Я спросила правильно — показала справку из музея Нижнего, черновое оглавление своей книги и честное лицо. Она водила меня по фондам два дня. И на второй день, когда мы доехали до фонда «Усадьбы и хозяйственные постройки Березовского уезда», она достала с верхней полки коробку и поставила ее на стол с особым звуком — не грохотом, а именно постановкой, как ставят на стол вещь, о которой уже давно думают.

— Это вам, — сказала она. — Если умеете читать обгоревшее.

Коробка была из-под писчей бумаги, перевязанная бечевкой. Внутри, в промасленной бумаге, лежала шкатулка — маленькая, липовая, с инкрустацией, которая когда-то была цветным стеклом. Стекло выгорело, оплавилось, темнея пузырями, и общий вид шкатулки был такой, будто ее сначала сожгли, а потом, передумав, потушили. На крышке, в выжженном углублении, сохранился полузавиток: то ли буква, то ли лепесток.

— Откуда она?

— Из Березовки. Из дома на холме, — Валентина Марковна говорила ровно, но руки ее сложились на животе — тем самым жестом, который я уже видела у женщин этих мест, когда речь шла о доме на холме. — Нашли при разборке старой кладовой в пятидесятых. Лежала в стене, в нише. Рядом — еще кое-что. — Она вынула из коробки фотографию. Темная, потемневшая, на стекле: мужчина у подножия холма, дом над ним, и — разглядывала я долго — что-то на самой макушке карниза. Железная птица. — Помещение в опись внесено как «кладовая западная», а по местным — «комната с тремя замками». Вы про Артамона писать будете?

— Я пишу про усадьбы, — осторожно сказала я.

— Про усадьбы, — повторила она, и в ее голосе было столько же иронии, сколько в голосе Пелагеи Ивановны. — Ну так вот, Таисия — она назвала меня по имени-отчеству, которого у меня нет, и я почему-то не поправила. — Артамон Ветров вел две конторы. Одну — наследники сжигали после смерти, отрезвившись. А вторую, говорят, так и не нашли. Говорят еще, что находить ее — неблагодарное дело: кто туда лез, тот потом по ночам вставал и ходил проверять, на месте ли собственная тень. — Она посмотрела на меня поверх очков. — Так что читайте обгоревшее, милочка. Только вслух у воды не читайте. Это не я придумала — это тут заведено.

В шкатулке лежала тетрадь в клеенчатом переплете. Не

дневник — я дневников видела десятки: замшелые, с цветочками, с замочками, женские, девичьи, все они начинались с «решила завести дневник». Эта начиналась иначе. На форзаце, черными чернилами, аккуратным, хозяйственным почерком:

«Книга прихода и расхода по хозяйству дома Артамона Ветрова. Веду я, Евдокия Артамонова, урожденная Сойкина, по доверенности мужа и по глупости своей. Год от Рождества 1871-й».

Я раскрыла тетрадь. И вот тут я должна описать то, что увидела, ровно и по порядку, как пишут научные отчеты — потому что с тех пор прошло много недель, а я все еще, просыпаясь, проверяю: правда ли это было.

Страницы были расчерчены вертикальной линией посередине, от корки до корки. Слева — колонка «приход», справа — «расход». Это была обычная хозяйственная бухгалтерия, какие велись в тысячах домов: слева — «получено с мельницы: мука ржаная, две меры», справа — «отпущено приказчику Упорнову на починку саней: гвозди, смола, денег три рубля». Ячмень, овес, керосин, свечи, деньги, ткани. Дом дышал через эти строки: вот он купил, вот продал, вот отдал в долг соседу-помещику, вот простил. Бухгалтерия живого дома, честная и скучная, как все честное.

Только спустя несколько страниц я заметила: расходы Евдокия подписывала не всегда. Иногда в правой колонке стояла сумма или товар — и никакой подписи. А снизу, мелким

почерком, другим, третьим, все более уставшим: «верю на слово». «верю на слово». «верю на слово». Человек, который вел этот дом три года, учила я по страницам, верила на слово чаще, чем видела собственными глазами. И чем дальше к концу года 1872-го, тем чаще встречалось это «верю на слово» — а рядом с расходами, помеченными именем Упорнова, стояло уже не оно. Там стояло: «не спрошу».

Я сидела в читальном зале архива до закрытия, и свет надомной горел ровно, и за окном темнела река, и я не чувствовала времени — того самого, которое архивариусы ставят на табличках «фонд, опись, дело». Я перелистывала 1872-й год: приходы росли, дом богател, Артамон покупал землю, лес, ставил мельницу — а в правой колонке все чаще встречались не товары, а имена. Расходы были именами. «Иван Плотинский — два рубля». «дети Сойкиной сестры — мешок муки, тихо, чтобы не знал». «невестина мать — лекарство, три рубля, не скажу». Я поняла, что смотрю на чужую жертвенную книгу — не церковную, где молитвы пишут, а денежную, где добрые дела записывают стыдливо, будто долги. Евдокия раздавала деньги мужа тем, кого обидел муж, — и записывала это как расход.

И вот тогда я доперелистала до обожженного края. Последние страницы 1873-го были оплавлены по диагонали, текст уходил под коричневую корку. Последняя читаемая запись стояла в левой колонке — в приходе, куда записывали все, что приходит в дом:

«получено от судьбы: одна тайна, срочная, нераспакованная».

Больше читаемых строк не было. Я открыла тетрадь снова, с начала, уже с другими глазами — глазами человека, который нашел в архиве не фонд, а письмо, адресованное не ему. И когда архив закрывался, Валентина Марковна, стоя у дверей с ключами, сказала мне спокойно, как говорят о погоде:

— Таисия Марковна — она на этот раз добавила отчество, которого мне тоже не принадлежало, и я снова не поправила. — Завтра вечером к броду не ходите. Завтра июньское спокойствие, а река в июне капризная: воды много, корма мало. — Она закрывала дверь, и ключ поворачивался в скважине с густым, насосным звуком. — И еще. Если книга эта вам начнет отвечать — не удивляйтесь. Тут говорят: у воды все книги двойные. Одна — на бумаге, другая — в проводках.

Я вернулась в Березовку поздно, под дождь мелкий, как пыль. Пелагея Ивановна сидела в горнице с чайником и видом человека, который целый день делал вид, что не ждет.

— Ну, — сказала она. — Нашла?

Я положила на стол промасленную бумагу, а на нее — тетрадь. Пелагея смотрела на клеенчатый переплет долго, без креста, без всяких своих обычных знаков. Потом сказала то, чего я от нее не ожидала:

— Я эту книгу не читаю. — И, помолчав: — Моя прабабка ее читала. Говорила: хорошая женщина была, только в сче-

тах жила. А в наших местах в счетах живущие — рано или поздно встают вопросом: а что, если меня вычтут. — Она развернула тетрадь к себе, глянула на первую страницу, и я видела: читать она не стала, просто держала, как держат старую икону без молитвы — как держат вещь, которая кому-то была дорога и которая об этом помнит. — Знаешь, что в ней самое страшное?

— Что?

— Что слева все настоящее. А справа — все, чем расплачивались. — Она закрыла тетрадь. — Спи, душенька. И не смотри на нее сегодня. Обгоревшее надо привыкать читать — как привыкают к лестнице в темном доме: сначала ногой щупают.

Ночью я лежала без сна и думала о колонке «расход», где записаны были люди. Я думала о мужниной библиографии — четырех томах его научных трудов, где я тоже стояла в списке, в конце: «жена Лаптина Т. П., безвозмездно». Краевед я хороший, статей у меня две дюжины, а все равно — «безвозмездно». Я лежала в темной комнате Пелагеи Ивановны и чувствовала, как меня кто-то вычитает — медленно, по строчке, с карандашом. С чужой стороны листа.

А утром, когда я открыла тетрадь — уже при дневном свете, за Пелагеиным столом, с чаем — на полях последней чистой страницы, там, где заканчивался читабельный текст, я увидела то, чего вчера точно не было. Строчку. Мелкую, корявую, сделанную карандашом, который привык к другому

почерку:

«проверь расходы, Таисия. у воды уже проверили».

Я перевернула тетрадь. Назад. Встряхнула. На форзаце — все то же: «Евдокия Артамонова». На последней странице — все то же: «одна тайна, нераспакованная». А на полях — между ними, посередине ста лет — строчка, написанная рукой, которая знала мое имя.

Я сидела очень долго. Чай остыл до конца — до того, что ложка в нем стояла, как ложка в пустоте. А потом я сделала единственное, что умеет делать человек моей профессии, когда текст ему отвечает: я открыла рабочую тетрадь и начала выписывать расходы Евдокии поименно. Если меня вычитали — я хотя бы узнаю, кто держал карандаш.

ВСТАВНОЙ ЭПИЗОД ВТОРОЙ. СЕВЕРНАЯ КОМНАТА

Эту историю я — Алина — просила Таисию включить в книгу. Она сначала отказывалась: «это ваша история, не моя». А я ей говорю: «наша книга уже общая. Вы дочитали мою, я дочитала вашу — а читатель должен знать, что дверь, про которую вы пишете, — настоящая, и что за ней было, пока я не приехала». Она подумала и согласилась, при одном условии: чтобы я писала сама, своими словами, а она не будет править. Договорились. Пишу.

Я приехала в Черную Гать три года назад — до Таи-

сии, между прочим, и это ей не нравится, когда я напоминаю. Приехала редактором — да, редактором, как Таисия, — приехала править чужой роман: год по завещанию, условия, ключ. Знаю, что про нас с Северином написано и что говорят в поселке; вот вам правда без права редактиры.

Северная комната. Я ходила к ней каждый день первого месяца — сидела на полу у суконной двери, как сидят у закрытых дверей все наследницы во всех романах, которые я правила. Пила чай, который остывал быстрее, чем требовала жанровая конвенция. Однажды — я не говорила этого ни одной живой душе, а скажу здесь, потому что Таисия поймет без пояснений, — замок щелкнул сам. Я встала, подошла — и не открыла. Стояла перед дверью, которая открывалась сама, и понимала: если войду сейчас, войду туда, куда меня пустили, а не куда я пришла. Села обратно на пол. Замок щелкнул снова — уже запираясь. С тех пор я знала главное про этот дом: он предлагал. Он не пускал. Разница — вся разница между ним и Олегом.

Про Олега. Таисия думает, что знает — она читала дневник, расписки. Не знает. Олег приходил за ключом каждое новолуние три года. Три года, девяносто три ночи — я считала, пока не перестала, потому что счет помогает только тому, кто может закрыть строку. Он звонил маминым голосом. Он звонил голосом отца — а отца я почти не помнила, и от этого звонка было хуже всего: он звонил тем голосом, которого я хотела больше всего на свете. Однажды — весной, помню, —

он звонил голосом бабушки. Северин стоял в коридоре, и я видела его спину — впервые за год я видела, как он дрожит. Он потом неделю не разговаривал. Я не спрашивала. Мы в этом доме не спрашивали — мы слышали.

Ключ я отдала ему — Северину — в конце года, и это была единственная моя сцена, которую я бы вычеркнула, если бы книга была моей. Не потому что плохо написано. Потому что я не хотела отдавать. Я хотела — не знаю, чего хотела: остаться хранительницей, наверное. Хранительница — это роль, а роль — это костюм, в котором не видно тебя. А он, когда взял ключ, посмотрел на меня — впервые без всего, без должности, — и сказал, что отныне хранитель — я: вот ключ, который все эти годы держали, чтобы хранить его от меня, а нужно было — наоборот. Вот в этой фразе, если разобраться, было все: и ключ, и дом, и он сам — переданные мне, как передают то, чему больше не хватит сил держать. Я взяла. А что мне было делать — я же редактор: я знаю, как кончаются главы, где героиня берет ключ.

А дальше был пожар. Про пожар Таисия знает — знает со слов. Я знаю по коже. Я знаю, как пахнет сгоревшая двадцатилетняя сосна, и знаю звук — не грохот, а вздох, — которым рушилась северная стена. И знаю то, что не напишешь ни в одной книге: что дом горел не как жертва. Мы стояли с Севериным на дороге, и я смотрела, как горит суконная дверь — синевато, как прореха, — и чувствовала не горе. Я чувствовала уважение. Дом отдавал огню то, что решил от-

дать, — и не отдавал больше ничего: печной сейф не тронул, письма не тронул, зайца — того, что от него осталось, — я нашла в золе наутро. Огонь, оказывается, тоже умеет читать. Он прочел наш дом и вычеркнул только то, что вычеркнуть положено.

Северин исчез той же ночью. Три месяца. Я чинила крышу сама — Таисия хохочет, когда рассказываю, а я не хохочу: я тогда поняла, что ремонт — это единственное, что умеют делать брошенные женщины, кроме писем. Я писала ему и не отправляла — по двадцать писем за лето, и сжигала в костре, и говорила дыму: «передай». Потом он пришел — в новолуние, три раза стукнул, уставший стук, — и я поняла, что все это лето чинила не крышу. Я чинила дверь. Чтобы когда он постучит — открыть не должна была, а могла.

Вот что я хочу сказать читателю этой книги про нашу северную комнату. За той дверью лежали долги полпоселка — да. Расписки, папка про мамин пожар, дедовы счета — да. Но главное там лежало вот что: ни одного собственного письма. Ни одного. Дед не писал — он держал. Бабушка писала — не отправляла. Мама — не успела. Поколения этой семьи хранили чужие слова и не сказали своих. И вот когда Северин отдал мне ключ, а потом ушел в скит — он сказал первое собственное слово за двадцать лет. Оно звучало так: позволь войти — я пришел не как сторож, а как гость. Три года он говорил со мной как хранитель, как управляющий, как тень — а потом пришел и попросил войти, как человек. И я —

я, редактор, вычеркивавшая людям лишние слезы двадцать лет, — впервые увидела человека, которому нечего вычеркивать. Он был целиком написан. Готов к сдаче.

Купальня, кстати — это моя идея. Таисия думает, что ее, а моя. Я хотела, чтобы у воды было место, где люди просто купаются, — без расписок, без ключей, без книг. Северин сначала хмурился: «у брода не моются». А я говорю: «раньше не мололось. теперь — мельница есть». И он засмеялся — редко, как дожди в июне, — и согласился. Мы с ним теперь водим вместе: он следит, чтобы никто не тонул, я — чтобы никто не считал. Иногда получается. Иногда — кто-то одной старухе помогает донести полотенце до воды, и весь день считается закрытым.

Так что, Таисия, когда будете править эту главу — а вы будете, несмотря ни на что, — помните наш договор: не правьте суть. Суть такая: ключ от северной комнаты лежал в доме сто лет, и все искали, чем он открывается. А он открывался не дверь. Он открывал тех, кто его держал.

Последнее — про ключ с бородкой в виде ласточки, потому что Таисия спрашивала, и я обещала. Этот ключ — не наш. Не ветровский. Бабушка писала в одном из писем: «С. достал откуда-то ключ, к нашим замкам не подходит. носит на шее — к чему бы это?» — а сама догадка у меня одна, и я ее выскажу один раз, здесь, и больше никому: ключ с ласточкой — от шкатулки. От той самой, обгоревшей, липовой, что лежала в архиве и в которой Таисия нашла дневник. Замок

шкатулки — мелкий, круглый, и бородка у пропавшего ключа такая, что к мелким замкам подходит лучше, чем к северной двери. То есть сто лет все искали ключ от комнаты — а он был от книги. Я проверяла: подошел. Сказать Таисии? Не сказала. Пусть у книги будет хоть один секрет, который не раскрыт до конца. Книгам положено.

ГЛАВА 3. НЕВЕСТА

Из дневника Евдокии Артамоновой, урожденной Сойкиной. 1871 год, от лета до первого снега.

Вышла за Артамона Ветрова в июле, и до сих пор не решила, что взяла: мужа или проводку. Отца на свадьбе спрашивала, плачет ли невеста — плакать не буду, а выйду красной, смеяться не стану — насмешат. Отец, плотинный мастер, человек, который всю жизнь строил поперек воды, сказал мне тогда единственное напутствие: «Дочь. У воды все сходится балансом: либо ты, либо тебя. Помни, кто кого уравновесит».

Муж мой купец из больших. Приехал за мной на трех лошадях, с приданным моим в четвертой повозке — книги мои, корыто медное, и вишня сажена, привязанная к задку, как хвост мальчишки. Весь Верхний Плес вышел провожать, и я шла через поселок так, как учила мать: спину не гнуть, потому что спину видят, когда ты уже ушла. А вот дом мужа я увидела сначала с реки — бродили мы по Ветшанке бог зна-

ет зачем, мне показывать окрестные уголья, — и дом стоял на холме темный, с выжженными глазами окон, и я подумала: вот он, баланс. Холм воду держит, вода холм смотрит. А между ними мы — люди, расход и приход.

Живем мы на два счета. Есть дом, где едят: стол в горнице, самовар мужнин, картина с лебедями. А есть дом, где считают: контора при въезде, стол приказчика, и за дверью — кладовая, о которой муж говорит редко и только «там — свое». У кладовой — три замка. Три ключа: у мужа, у приказчика Упорнова и, как я поняла к зиме, у еще кого-то, кого в доме нет.

Упорнов — человек молчаливый, с улыбкой должника. Муж его берег, как берегут посуду: не любят, но ходить по дому без него неудобно. Первое, что я выучила в этом доме — перечень лиц, с кем муж считается: приказчик Упорнов; компаньон московский, о котором говорят «Н.», и голос его слышно только в присутствии Упорнова; да еще река, которую муж в списке не держит, но которая, похоже, держит его. Раз в месяц, в новолуние, муж ночует у воды — «смотрю брод», говорит. Я у воды не бываю ночью: муж запрещает, слово у него на это одно — «не время».

Над калиткой дома — птица железная. Я спросила, что это. Муж ответил: «примета». Упорнов — «хозяйское». Старуха Марья, которая у нас молится и белье стирает, перекрестилась на птицу дважды и сказала то, что сказали бы в моем Плесе: «долг друг друга видят». Кто чей долг видит — она

не добавила. Я записала этот разговор сюда, в книгу, потому что книгу эту веду не для красоты — веду, как вела всю жизнь счета: чтобы потом, когда спросят, не отвечать «верю на слово».

Зима 1871. Муж взял меня в кладовую. Стоял у двери, пока я вошла, — так стоят, когда впускают не светить, а запоминать: смотри, что есть, и не смей туда лезть. Кладовая маленькая. Стеллажи с книгами — одними книгами, без хлеба, без меда, без мехов. Книги счетовые. Муж показал рукой: «вот наши дела». А сам смотрел не на стеллажи — на меня. И я поняла, что показанное — не все. Есть в этом доме и второй стол, и вторая книга, и как раз те ее страницы, которые муж смотрит. Не я вычислила это умом — вычислила домом: в доме, где все видно, никто никогда не смотрит так, как смотрит тот, кто уже смотрит мимо.

Записала тогда в эту книгу, на полях, мелко: «если муж ведет два счета — спрошу, какой из них настоящий». И тут же вывела жирно, как выводят испорченное: «не спрошу». Вспомнила отца. У воды все сходится балансом, дочь. Либо ты — либо тебя.

Лето 1872. Мельница стоит у брода. Муж берет меня посмотреть, как кладут жернова, и я впервые вижу, что означает его богатство: не дом, не лошади — а то, что люди из трех деревень работают на мельнице его и молчат о том, что по ночам по броду ходят чужие возы. Чужие возы, знаю я теперь точно: сама видела с крыльца — шли не по дороге,

по воде, по настилу, фонарей нет, голосов нет. Вozy воды не боятся. Я стояла у окна, и муж стоял у окна, и мы оба делали вид, что я сплю уже в горнице. В тот вечер я впервые вела эту книгу двумя чернилами: чернилами — приход, карандашом, который стирается, — то, о чем молчу.

Осень 1872. Нашла. Не искала — нашла, как находят проводки: проводки сами себя показывают, когда в стене сыро. Разбирала зимние вещи в сундуке мужнином — ключ от него у меня, муж сам дал, «чтоб не спрашивала меня в мелочах», — и на дне, под сукном, лежала вторая книга. Тонкая, в кожаном переплете, с тремя тисненными буквами: «А.В.Н.» — Артамон Ветров и... Н. Знаю я этого Н. Всю осень книгу эту изучала, понемногу, по ночам, при свече, которую гашу, едва скрипнет двор. Приход у нее один — большой, страшно большой: лес чужой, соль, керосин, железо. А расход — сплошь имена. Не деньги — имена. Кто взял, кто промолчал, кто «погиб, упав с моста». И каждое имя — с цифрой, и каждая цифра такая, что не купишь ни за какие деньги у живого. Это не торговля, это страховка: люди, которых купец держит за слово «верю на слово».

Я сидела над этой книгой ночи напролет и чувствовала, как меня переписывают. Не в ту книгу — в другую, которую я сама не видела. С этого осеннего месяца я вела уже три книги: эту, честную; вторую мужнюю, которую никто не видел, кроме него и меня; и третью, в которую, как я догадывалась, вписывал меня кто-то еще. Проводки сходятся, гово-

рил отец. Итог всегда один: либо ты, либо тебя.

Зима 1872–1873. Муж стал заходить ко мне в горницу по вечерам и молчать. Молчание его стало другим: не деловое, — внимательное. Как смотрят на воду, когда решают, ставить мельницу или нет. Однажды он сказал: «Ты ведешь мои счета честнее, чем я. Это опасно. Для тебя — опасно». Я ответила то, чему научила его же кладовая: «Тогда дай мне счет, который настоящий». Он смотрел на меня долго, и я видела, как он считает: меня, дом, воду, книгу в стене. И уравновесил он все это так, как уравнивают в нашей округе все — словом коротким, после которого спорить не принято: «Нельзя».

А ночью, когда он ушел к броду — смотреть, новолуние — я достала из стены вторую книгу и переписала четыре страницы. Не все. Те, где имена с цифрами. Переписала в эту, в мою, в честную — в расход. Пусть будет один счет, где все настоящее. Правила бухгалтерии глупые: приход и расход должны сойтись. Я решила, что сойдутся. Любой ценой — и записала эту цену туда же, в расход, как положено: «цена неизвестна, уточнить на месте».

Весна 1873. Марья-старуха стирает белье у брода и знает больше всех в доме — потому что вода все рассказывает прачкам: чье белье, чьи слезы, чьи деньги на подоле. Я присела к ней с корытом — мы прали вдвоем, и это было первое во всем доме дело, которое я делала не как хозяйка, не как жена, а как две женщины у воды, где ранг смывается пеной.

— Ты про птицу все спрашиваешь, — сказала Марья, не поднимая головы от подола. — Спроси лучше, кого она смотрит.

— Кого?

— А кто под ней ходит — того и смотрит. — Она полоскала, и вода уходила черная, с торфом. — Повешена она не Артамоном. До Артамона холм этот чужой был, хутор стоял, жил на нем купец один, не из наших. Того купца вода взяла — с возом, с лошадьми, в полынье у самой гати. А птица осталась. Артамон хутор купил у вдовы за полцены, а птицу не тронул: сказал, «пусть смотрит». Вот и смотрит. — Марья впервые подняла на меня глаза. — Все думают: оберег. А она — не оберег. Она — окно. Кто стоит под нею, тот в окно и смотрит. Ты у калитки долго не стой, госпожа. Птица привыкает.

Я ушла от воды, и мне было холодно не от весенней реки. Я вспомнила рассказ мужа — как он в день свадьбы показывал мне хозяйство, и мы остановились у калитки, и он сказал тогда, глядя не на меня, а на птицу: «Все в этом доме я построил сам. Все, кроме одного». Я думала — кроме птицы. Теперь я поняла: кроме вдовы, кроме полцены, кроме проводки, которая шла через этот холм еще до Артамона. Чужой воз, чужая полынья, чужая цифра в чужой книге — а мой муж вписался в эту проводку аккуратно, по правилам, не разорвав ни одной строчки.

Апрель 1873. Ночью, в новолуние, муж ушел к броду, а

я не спала — сидела в горнице с этой книгой на коленях и ждала, что дверь скрипнет, что он войдет, что я спрошу все как есть. Дверь не скрипнула. Зато за окном, у самой калитки, скрипнуло что-то другое — медленно, ветхо, как скрипит металл, когда его поворачивают не руками, а ветром.

Я подошла к окну. Птица над калиткой стояла по-прежнему профилем к дороге — но не к той стороне, к которой стояла весь день. Повернулась. Смотрела на дом. На мое окно.

Я стояла за ставнями, и у меня на коленях лежала книга прихода и расхода, и я поняла, что третья книга — та, в которую меня переписывают, — ведется не в доме. Она ведется отсюда. И переписывает меня не муж, не Упорнов и не московский Н. Переписывает то, что старше всех проводок: сама вода, которая держит этот холм, как книгу, — и листает.

Записала сюда, в приход: «одна ночь апреля, испуг женский, дешевый — три копейки». А в расход вывела ровно то, чем расплачиваются в наших местах за страх: «расход — молчание, крупное, впрок».

ВСТАВНОЙ ЭПИЗОД ТРЕТИЙ. МЕЛЬНИЦА

Мельницу я увидела за неделю до Купалы — сначала в бумагах, потом — в поле. В архиве Валентина Марковна выдала мне дело без всяких предисловий, просто поставив на стол между нами, как ставят то, о чем уже давно думают: «Дело о пожаре Березовской прибрежной мельницы. 1936

год». Папка тонкая, почерневшая по сгибам, с актом на трех листах, фотографией и — отдельно, приложенной скрепкой, — с прямоугольником вырезанной газеты.

Фотография была сделана до пожара. Мельница стояла у самого брода — не у полыньи, ниже по течению, на том месте, где сейчас Алина хотела поставить купальню, — и стояла она не так, как стоят мельницы по-нашему: не поперек воды, а вдоль. Жерновов в ней не видно было, но я не об этом. Я смотрела на фундамент. Фундамент — каменный, с башенкой-подпоркой, и на фотографии, при увеличении, у подпорки виднелась дверь. Дверь в подпорку мельницы, выходящая прямо к воде. Такие двери не делают для муки.

— Мельница не была водяной, — сказала Валентина Марковна, глядя, как я кручу лупу. — Это я вам скажу сразу, раз вы уже увидели дверь. И в жернова вы, кстати, правильно смотрите: жернова в ней были — настоящие, фальшивые жернова, наверху, для вида. Муки она вырабатывала ровно столько, сколько нужно, чтобы в книгах значиться мельницей. А работала она... — она постучала по фотографии той самой двери, — вот здесь.

Я открыла акт. Пожар случился в июне тридцать шестого, в ночь на Ивана Купалу — я отметила это карандашом в блокноте: Купала, опять Купала. Сгорела дотла за четыре часа: ветер, дерево, засуха. Расследование короткое: «причина не установлена, подозревается халатность обслуживающего персонала». Я перевернула страницу и прочла фами-

лию мельника: Сойкин. Тихон Сойкин. Сойкин — та самая фамилия, и в той же строке мелко, почти без нажима, как пишут, когда боятся бумаги: «дальний родственник бывшего владельца хутора».

— Тихон Сойкин — из плесовских Сойкиных? — спросила я.

— Из тех самых. — Валентина Марковна сняла очки и протерла их — у нее это означало, что разговор перешел из архивного в человеческий. — Он правнук племянника Евдокии, кажется. Или праправнук — я плохо считаю родню, я архивариус, не связной. Семья уезжала из Плесов в начале века, купила мельницу, работали честно, мука у них была хорошая. — Она помолчала. — А мельница, как вы уже поняли, была куплена не для муки. Дед продавца — из тех, кто артамоновскую гать обслуживал. Гать не работала уже лет пятьдесят, а дверь в подпорке осталась. Вы понимаете, Таисия Марковна, куда вела та дверь?

Я понимала. Настил старый, под настилом — камера, камера выходит ниже по течению, в сторону той самой заводи, где Клава видела дядьку Ефрема. Мельница — это не мельница. Это почта. Последнее звено артамоновской проводки, проработавшее десять лет после того, как Артамон умер, и шестьдесят — после того, как гать закрылась. Проводки не умирают вместе с конторами. Они уходят в подполье — буквально, под настил.

А газетный вырезок был об объявлении: 1936 год, райцен-

третняя газета, рубрика «потерянные связи». «Ищу сведения о Тихоне Сойкине, бывшем мельнике Березовской прибрежной мельницы. Обратиться по адресу...». Адрес — московский. Я переписала его, не зная зачем, — так переписывают то, что потом пригодится, и я еще не знала, насколько скоро.

В поле мельница не сохранилась ничем — ни фундамента, ни двери в подпорке: время с водой не шутит. Но место я узнала по фотографии: заводь, ивы, и — Клава, которая пришла туда сама, без зова, стояла у воды и ждала меня.

— Вы про мельницу, — сказала она. Не спросила. — Я знала, что придете. Она ждет, кто спросит. — Клава говорила глядя в воду, и голос ее был ровный, как голос человека, который проговорился по самую больную строчку и дальше ему уже легче. — Я видела их, когда она горела. Троих. Я не хотела вам говорить, потому что вы — краевед, а краеведы пишут. А это не для книги.

— Я больше не просто краевед, — сказала я ей.

И она рассказала. Не сразу — по кускам, как идет вода под мостом, — но я сложила.

Мельница Тихона Сойкина до тридцать шестого года работала честно — жернова наверху крутились, мука шла по округе, — а внизу, за дверью в подпорке, раз в месяц, в новолуние, по той же водной дороге, что когда-то шли артамоновские возы, ходил один лодочник. Не контрабанда — хуже и проще: письма. Люди по всей округе носили лодочнику конверты — без марок, с водяными знаками, — а он возил

их на другой берег, к тому, кто ждал у заводи. Так работала московская проводка после смерти Н.: через мельнику Сойкина, последнего доверенного, человека, который не знал, что везет, — а знал одно: ему за это платят и его оставляют в покое. В покое его оставляли: мельница горела каждый год по чужому беспокойству, а его — нет.

А потом пришел тридцать шестой. Кто-то в Москве решил, что проводка должна закрыться — вечные конторы, знаю я по теперешнему Спесивцеву, закрываются обязательно, — и закрывается она, как всегда, со свидетелями. Лодочник не пришел в то новолуние. Пришел другой. И Тихон Сойкин — мельник, правнук плесовских, человек, который не знал, что везет, — в ту ночь узнал. Потому что трое, что пришли за дверь в подпорке, говорили не о письмах. Они говорили об очистке. А он, по словам Клавы, стоял на лестнице и слушал — он слушал у воды, как мы все, — и услышал, что ему «оставлять в покое» больше не будут.

Он сжег ее сам. Мельницу, почту, дверь в подпорке — все. Муку выгнал во двор, лошадей отвел, а дом — поджег, в ночь на Купалу, за час до того, как пришли те трое. Они выскочили, трое, — Клава стояла на берегу и видела их в свете пожара: трое мужчин, и ни один не оглянулся назад. Они знали, что сгорело. Они знали, что проводка закрылась — и оставили мельника в покое навсегда.

А в воде, под той мельницей, лежали те, кто не выскочил. Двое рабочих спали в каморе наверху — они выбрались, —

а вот внизу, за дверью в подпорке, оказались трое. Трое, что пришли за письмами. Камера была каменная, выход к воде — узкий, пожар задымил весь коридор... Клава видела их под мельницей потом — она мне так и сказала, глядя в воду: «Я думала всю жизнь, что это мои самые страшные. А оказалось — просто их трое, и они не умеют плавать. Я бы им научила. Некому было научить».

Мы стояли у заводи долго. А потом Клава сказала то, ради чего, я думаю, и пришла:

— Краеведша. Вы будете это писать?

— Буду, — сказала я.

— Тогда напишите не так, как пишут про пожары. — Она наконец оторвала взгляд от воды и посмотрела на меня — глаза у нее были цвета зимней воды, как у матери. — Напишите, что он спас то, что хотели взять, и что взяли его за это не те. Тихона Сойкина арестовали в тридцать седьмом — по доносу, по другому. Не за мельницу. За связь. Десять лет. Вернулся в сорок седьмом — я помню его: старик, молчаливый, сел у заводи и сидел. Умер в пятьдесят шестом, на этом берегу. — Она указала на камень, на котором мы стояли. — Вот здесь. Я просила брата его похоронить по-людски, а не по-водному. Арсений похоронил. А я — я рисую его до сих пор. На каждой картине, где трое, я рисую и четвертого — на берегу, с ведром. Чтобы вода знала: был тот, кто не умеет плавать, и был тот, кто стоял на берегу. Я не знаю, чье страшнее.

Я записала все — в блокнот, потом в тетрадь, потом в саму себя. И дома, за Пелагеиным столом, сложила из этого главу, короткую, как пишут правду:

«Мельница Тихона Сойкина. Построена у брода в семьдесят втором, сгорела в тридцать шестом. Не была мельницей. Была почтой чужой конторы — и дверью, что закрыл ее последний Сойкин, ценой десяти лет и своей жизни. В приходе его: мельница, мука, берег. В расходе: десять лет, одно молчание, и то, что под ней лежит до сих пор. Вода знает. Вода молчит. Мельницу не восстанавливали. На ее месте — заводь, ивы, и камень с надписью, которую поставил не совет и не церковь: „Здесь до Купалы-36 дожил последний почтмейстер“. Подписи нет — не нужна. Все в округе знают, что почтмейстер — это он».

А московский адрес из газетного вырезка я не стала искать. Некоторые проводки закрываются без нас — этому меня учила та ночь на броду, а теперь — мельница.

ГЛАВА 4. ХРАНИТЕЛЬ БРОДА

Я решила, что мужчину с удочкой я выдумала, — так в науке поступают со всем, что не помещается в таблицы. Но он стоял у брода и наутро, и вечером третьего дня, все там же, на том же месте, где настил сходил в воду, и удочка его была без крючка. Я смотрела из-за кустов, как краевед-любитель, и Пелагея Ивановна, стоявшая рядом с корзиной, смотрела

на меня так, как смотрят на ребенка, который решил, что огонь — это сказка.

— Он каждый день тут стоит? — спросила я.

— Он не стоит. Он слушает, — сказала Пелагея. — Вся разница, душенька. Стоять — это когда ты ждешь чего-то. А он убедился, что ждать не надо: река сама все расскажет, стоит только не мешать ей ртом.

Я вышла к воде. Он не обернулся — услышал, конечно, еще на тропе, потому что повернулся только когда я остановилась и стала ждать, что он заметит. Эта маленькая победа — перехватить момент, когда человек все-таки обращается — почему-то обрадовала меня сильнее, чем надо было.

— Таисия, — сказал он. Не «Лаптина», не «московская». Он знал мое имя, и мне было не по себе от того, как ровно он его произнес, без вопроса. — Вы нашли книгу.

Не вопрос. Я вспомнила Валентину Марковну и ее «это вам» и поняла, что в этом краю кругом люди, которые говорят утверждениями там, где в нормальных местах принято расспрашивать.

— Откуда вы знаете?

— Река шумит иначе, когда у берега читают обгоревшее, — сказал он. — Не вслух. Она чувствует по пальцам. — Он наконец посмотрел на меня, и в серых глазах было то выражение, какое бывает у людей, которые давно не объясняют очевидного и уже подзабыли, как это делается. — Вы читали ее у воды?

— Нет.

— Не читайте. — Он сказал это без запугивания, как говорят «не ешьте сырой» — буднично, по обязанности человека, который когда-то сам про это забыл. — Книга эта не для воды. Она для дома. Читайте ее у стола, при свече, и не раньше заката — и не позже. После заката она читает вас.

Я стояла и переваривала. Краевед во мне требовал источников, сносок, объяснений механизма. Человек во мне — а человек во мне полгода жил в доме, где его били за вопросы, — просто запоминал правило. В нашей семье правила запоминали молча, потому что уточнять их было опасно.

— Ключников, — сказала я. — Вы сказали — веками. Что это значит?

Он помолчал. Пауза его была устроена не как у Севера Грома — занятая, как кухня; его пауза была пустой, как зимнее поле: на ней все видно, и ничего не спрячешь.

— Моя прапрапрабабка звали Евдокией Сойкиной, — сказал он наконец. — Дочь плотинного мастера из Верхних Плесов. Выписанная в жены Артамону Ветрову в семьдесят первом. Погибшей на этом броду в семьдесят третьем. Тело не нашли.

Я слышала, как в голове щелкает то самое, что щелкает у краеведа, когда две независимые источники сходятся: не радость — тишина. Как будто кто-то выключил ветер.

— Вы — ее род?

— Мы — ее долг, — сказал он просто. — Семья ее сестры.

Матери велено было: «смотри, как вода». Смотрели. Девять поколений. Мужчины наши у брода стоят, женщины книги водяные ведут — кто умеет. Умение через одно поколение идет, как брови и характер. У меня — умение слушать. У сестры — умение видеть то, что под водой. Она в Плесях живет, к броду не подходит — с детства воды боится, а вода, говорит, все равно с ней разговаривает, по-дружески. — Он помолчал. — Умение — это не дар, Таисия. Это работа, которую не выбрали. Как родословная. Как фамилия.

— И что вам говорит река? — спросила я, потому что спросить другое было страшнее.

— Сегодня — что вы боитесь меня ровно наполовину. — Он смотрел на воду, и уголок его рта дернулся. — Это много. Обычно бояться либо совсем, либо не бояться, а потом убегают. Половина — это когда можно работать.

Мы стояли у воды, и я впервые за полгода чувствовала, что рядом человек, с которым не надо ни за что извиняться. Даже за вопросы. Это ощущение было таким непривычным, что я его сначала даже не узнала: оно было похоже на то, как после долгой болезни первый раз ступаешь на ногу — страшно, что болезнь вернется, и страшно, что не вернется.

— Спесивцев приезжал, — сказал он вдруг. — Гаврила Афанасьевич. Вы его видели? Белая машина, номера не наши.

— Нет.

— Увидите. — Голос его стал ровнее, что у него означало

хуже. — Он скупает участки у воды. От окраины до самой гати. Говорит — база отдыха, экотуризм, инвестиции. А покупает он не землю. Он покупает право копать. — Арсений наконец-то свернул удочку — бескрючковую, бесполезную, я бы сказала раньше, а теперь не сказала. — Я ходил на каждый его участок. Река на всех стонет одинаково: на том, где он копает, ей больно.

— Река вам это сказала?

— Река мне это сказала, — согласился он, и не улыбнулся. — Вы спрашиваете, как спрашивают те, кто хочет услышать «нет». Я вас услышал. Но нет вам не скажу: не мне вам врать. — Он пошел вдоль берега, два шага, и обернулся. — У него подрядчик уже есть. Экскаватор привезут через неделю. Копать будут у самой полыньи — там, где река дышит. Скажите вашим московским: если хотите, чтобы книга ваша имела конец — приходите послезавтра, на рассвете. Одна. Я покажу, что он ищет. И почему найти это не должен никто.

Он ушел по тропе, а я стояла у брода и смотрела на черную воду, которая, по словам человека с бескрючковой удочкой, чувствует мои пальцы. В Нижнем мне объясняли, что река — это гидрология. Здесь, похоже, гидрология объясняла что-то в ответ — медленно, по течению, не повышая голоса.

Вечером в поселке я увидела белую машину. Она стояла у лавки, и у нее разговаривали двое: Митрич — да, мой попутчик, всякая рыжая «Волга» этой округи сводится к нему,

— и человек в костюме цвета свежего асфальта, молодой, гладкий, с улыбкой человека, у которого на каждый вопрос заготовлен ответ. Спесивцев. Я узнала его по тому, как он стоял: он стоял лицом к лавке, но лавкой ему был весь поселок — он рассматривал его, как рассматривают участок, на котором уже мысленно все построено.

Пелагея Ивановна, когда я рассказала ей про участки, молчала долго. Потом сказала:

— Гаврила Спесивцев — это Олег, только ученый. Олег хотел взять ключ — а этот хочет взять воду. Ключ от одной двери, а вода — от всех сразу. — Она стукнула ложкой по столу, что у нее означало конец светской беседы и начало сказки. — Ты у Арсения послезавтра идешь?

— Иду.

— Иди. — Она посмотрела на меня внимательно, смерив с ног до головы. — И скажи ему от меня: пусть водяных книг не прячет. Я старая, мне все равно уже. А ему еще с рекой жить.

Вечером Митрич зашел к Пелагее «по пути» — у него в запасе были десять минут и вся мудрость округа. Он сел не раздеваясь, что у него означало серьезный разговор, и сказал:

— Спесивцев предложил мне бригаду. Расчистить гать, углубить фарватер, поставить понтоны. Денег — море, говорит. — Митрич помолчал, вертя кепку. — Я ему сказал: фарватер у Ветшанки не углубляют. Он спрашивает — почему.

А я ему: потому что она глубокая против тебя. Понимать не понял, а обиделся правильно. — Он поднял на меня глаза. — Если к экскаватору придут — приходи на холм, к хозяйке с красной крышей. Она теперь у нас главная по таким делам: она уже один дом из огня вытащила, знает, где спички лежат.

Я легла спать с мыслью о том, что послезавтра на рассвете я пойду одна к человеку, которого знаю три дня, чтобы посмотреть на полыню, где река дышит. Полгода назад я бы так не сделала. Полгода назад я бы вообще никуда не пошла — ходила по маршрутам, которые одобрял муж, и звала это свободой расписания. А теперь я лежала в чужой комнате под чужим одеялом и чувствовала, как где-то внизу, у воды, меня уже записали — крупно, размашисто, — в книгу, которой у меня нет. И удивительное дело: впервые за годы я не хотела быть вычеркнутой.

ВСТАВНОЙ ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ. БИБЛИОГРАФИЯ

Я вел бы себя иначе, знай я, что все закончится на мокром настиле, с ножом в выпущенной руке и с речью участкового о скольжении. Но знать я этого не мог — ни тогда, ни сейчас, сидя вот здесь и перечитывая все с начала, потому что человеку моего склада — а я человек научный, думающий, привыкший к проверке источников — необходимо перечитывать. Так устроена наука. Так устроен я.

Я женился на Таисии Лаптиной в двадцать девятом году, в осеннюю сессию, между защитой моей первой диссертации и печалью по матери — и это, позволю себе заметить, было разумно, а не случайно: человек без жены в моей должности производит подозрительное впечатление на комиссии. Она была из хорошей семьи, из Плесов — я проверял, — с чистой биографией и с глазами, которые смотрели на меня так, как смотрят на текст, который хочется исправить. Мне это льстило. Я полагал тогда — и полагаю до сих пор, что готов защитить эту позицию в любой дискуссии, — что брак, подобный нашему, есть союз двух порядочных людей, каждый из которых понимает свою роль. Ее роль была — быть женой доктора наук. Моя — быть доктором наук, к которому у жены нет вопросов.

Я никогда ее не бил. Это я считаю необходимым зафиксировать в самом начале, потому что дальше пойдет то, что она наговорила в деревне — участковому, адвокатше, судье, — и я хочу, чтобы читатель знал: со стороны удара всегда виднее. Я ставил ее в угол разумным воздействием. Разумным — это когда человек понимает причинно-следственные связи. Удар — это грубо, варварски, ни о чем не говорит. А вот когда я брал ее за локоть и объяснял ей, что она сказала или сделала что-то такое, что снижает мой научный авторитет, — например, пригласила моих коллег и подала не то вино, — и что в таком случае я вынужден буду... — я никогда не говорил, чего именно, это был конструктивный недоговор, —

она понимала. Она всегда понимала. Она очень умная женщина. Это я признавал всегда, и признаю.

Ребро. Да, было ребро. Я объясню научно, раз здесь вообще пришлось. Она упала. Она упала сама — с лестницы, с третьей ступени, — в присутствии меня, что позднее было истолковано (и вот тут начинается моя главная научная оби-га: не разобравшись!) как «избиение». Я находился в метре. Я не трогал ее. Я даже не повышал голоса в тот вечер, — напротив, я был чрезвычайно сдержан, потому что у меня был созвон с рецензентом. Я объяснил ей, что падение — следствие ее собственной неосторожности и того, что она взволновалась после нашей короткой, культурной беседы о том, что ее статья о купеческих усадьбах — мягко говоря, не соответствует уровню. Что мне остается? Врать ей, что статья хороша?

Она уехала через неделю. Сказала — пишу по памяти, но уверен, что близко к тексту, я фиксирую важные разговоры: — «Я уезжаю писать книгу». И уехала. Вот и весь уровень анализа: жена доктора наук, человек с двумя дюжинами статей — неплохих статей, я это подчеркивал неоднократно, — уезжает «писать книгу» и пропадает. Что я должен был делать? Устроить ей похороны? Подать на развод? Я поехал за ней. Это тоже необходимо зафиксировать: я поехал. Не писал заявлений, не объявлял ее пропавшей, не нажаловался — поехал. Сел в машину, проехал четыре сотни километров, нашел ее в какой-то дыре, где, судя по всему, жители вообще

не выходили на связь ни с какой наукой.

И что я увидел? Я увидел женщину, которая носит чужую рубашку, сидит у воды с каким-то местным и — это фиксирую потому, что для науки важна точность — выглядит счастливой. Счастливой! После трех лет брака! Я предложил ей вернуться. Деликатно, настойчиво, с аргументами: скандал, репутация, сроки, обязательства. И вот тут произошло то, что ни один мой методологический аппарат не способен объяснить: она отказалась. Без аргументов. С фразами из какого-то фольклора: «вычеркни», «со ссылкой на это место». Я стоял посреди той деревни и понимал, что говорю на одном языке, а меня слушают на другом.

А потом — ах да, потом был тот сюр, этот их настил, этот балаган с рекой. Я вернулся за ней, потому что поехал домой без нее — значило признать всему академическому миру, что мой брак провалился, а провал брака при моей библиографии — это провал теории. Я вернулся. Взял нож — колбасный, из машины, — потому что в этой деревне, оказалось, в ночь на какой-то их праздник собираются толпы, а я не знал, кто в этой толпе. Я вышел на настил, чтобы поговорить. Как муж. В последний раз.

Я не помню, как меня сбило. Это тоже прошу зафиксировать: я не помню удара, не помню падения. Я помню воду — холодную, плотную, как вдруг оказалось, не такую уж страшную, — и я помню, что лежал на берегу, а надо мной стоял участковый и что-то говорил про скольжение. Сколь-

жение. Красивое слово. Наука моя полна красивых слов, которые ничего не объясняют.

Они дали мне два года условно. Я подаю на апелляцию — не из мести: из принципа. Мой адвокат нашел формулировку: «эмоциональное состояние, вызванное исчезновением супруги». Это точная формулировка. Я эмоционально страдал. Я и сейчас страдаю — не от суда, нет: от того, что не могу составить полного списка причин, по которым она ушла. Не могу — и для человека моего склада это единственное, чего нельзя прощать. Ни ей, ни себе, ни той воде.

Если этот текст когда-нибудь прочтет кто-то третий — я написал его здесь, вот в этом месте, где разрешают бумагу, — прочтет и спросит себя: кто прав? То я напишу здесь, в конце, одну фразу, за которую мне не стыдно, и которая, возможно, единственно честная во всем этом документе:

Я до сих пор не понимаю, какой строкой я был в ее книге. А она, оказывается, была не строкой в моей. Она была — той, кто вел.

Мать. Раз уж я завел речь об объяснениях — а я приучен давать их до конца, — позволю себе несколько строк про мать, потому что без матери моя библиография начинается не там. Мать была учительницей русского языка в Плесах, женщиной строгой и точной, — с детства я слышал от нее одну фразу, которая, надо думать, сформировала все: «Гриша. Правильно написанное слово весит больше правильно сказанного. Пиши». И я писал. Я писал все: сочинения, пись-

ма, потом статьи, потом заявления на имя заведующего кафедрой. Писать — это то единственное, в чем я никогда не сомневался. Слова, поставленные на бумагу, стоят на своих местах. Слова, сказанные вслух, — убегают, переиначиваются, становятся «другими словами» в чужом пересказе. Мать умерла, когда я защищал первую диссертацию. Я до сих пор считаю — не могу не считать, это арифметика, а не горе, — что она умерла вовремя: успела увидеть титульный лист. Титульный лист, сестра моя мысленная, — это и есть то, что мы, ее сыновья, должны были ей поставить. Дальше шли только страницы.

Таисия никогда не понимала этого. Я пробовал объяснять — в первый год, когда еще пробовал. Говорил ей: смотри, вот мой четвертый том, вот твоя фамилия в списке сокращений, вот... Она слушала и смотрела на меня так, будто я читаю ей вслух чужой диплом. Однажды она сказала фразу, которую я записал — писал тогда еще все, — в ежедневник, и которую потом вычеркнул, и которую теперь, здесь, где вычеркивать некуда, восстанавливаю дословно, потому что честность требует:

«Гриша, ты любишь меня или мое присутствие в оглавлении?»

Я тогда не ответил. Не из злобы — из недоумения: вопрос показался мне методологически некорректным. Теперь, время которое у меня есть здесь, — у условного срока есть одно неожиданное достоинство: он дает время, — я все еще счи-

таю вопрос некорректным. Но теперь я знаю уже, что некорректные вопросы — это те, на которые у отвечающего нет ответа. У меня нет ответа. Я любил ее присутствие в оглавлении. Любил ли я ее саму — я не знаю, что это такое, «сама». Человек без этого знания — а я им был, есть и, боюсь, останусь, — похож на библиографию без единой книги: сплошной список литературы.

Апелляция, скорее всего, не пройдет. Я это понимаю: система, в которой я всю жизнь верил, — система формулировок, статей, правильных слов, — встретила с деревней, в которой решает вода, — и проиграла. Я не обижаюсь. Я записываю. Когда выйду — напишу об этом работу. Про разные системы счета. Возможно, единственную честную работу за всю жизнь — ту, где я сам буду не автором, а предметом исследования. Наука требует жертв. Я готов. Я воспитан матерью, которая говорила: «пиши».

ГЛАВА 5. ОТВЕТКА

Послезавтра на рассвете я не пошла к Арсению — дневник мне не дал.

Я проснулась за час до зари от звука, которого в комнате быть не могло: страницы. Тихий, сухой шорох переворачиваемой бумаги — вот так шуршат документы на ночном столике больного, которому нельзя спать. Тетрадь лежала на моей тумбочке, куда я ее убрала вечером, — я помню точ-

но, сама убрала, подальше от света — а сейчас она лежала открытой, посередине, и страницы подрагивали, хотя окно было закрыто.

Я не кричу в таких случаях. Полгода научили: крик — это то, чего ждут. Я села на кровати, подтянула колени к подбородку и стала смотреть, как краевед смотрит на проявляющуюся фотографию: не верить, но фиксировать.

Страница была новая. Не та, где я читала вчера, — а следующая, ту самую, которую закрывала обожженная корка. Корка была на месте, темная, хрустящая на вид. А ниже ее, в самом низу страницы, где бумага еще была жива, в правой колонке — в расходе — стояла свежая карандашная строчка. Карандаш был мой. Точнее — мой рабочий карандаш, который я воткнула в корешок тетради, потому что у Евдокии, у архивной, писать не сметь.

Строчка гласила:

«Таисия Лаптина — приход: одна книга, недописанная. Расход: испуг, средний, крепнувший. Григорий Лаптин — приход: не от мира сего. Расход: весь, с процентами. Срок: до Купалы».

Я сидела и слышала собственное сердце. Оно работало так, как работает сердце человека, который слышит за спиной шаги и еще не решил — бежать или обернуться. Григорий. Мое мужнино имя, которого не знает ни один человек в этом поселке — я никому не сказала. Я беглянка без биографии, Лаптина-краевед, «та, что пишет книгу». А в расходе-

ной колонке двадцатилетней тетради стояло: «Григорий Лаптин — приход: не от мира сего».

Я не помню, как дошла до лампы. Помню, что читала строчку под разными углами, что провела пальцем — карандаш не смазывался, вдавлен в бумагу, настоящий. Помню, что поднесла страницу к свету: водяных знаков не было, бумага архивная, конец девятнадцатого века, такую не подделаешь и не купишь. А помню еще — и это стыдно, но правда — что какое-то время я просто сидела с тетрадью на коленях и чувствовала облегчение. Потому что если дневник знает про Григория — значит, я не сошла с ума. А если я не сошла с ума — значит, сошел с ума мир, и в этом мире мой муж числится расходом с процентами. И сроком.

До Купалы оставалось чуть больше двух недель. Я знала это, потому что Пелагея Ивановна всю неделю резала травы «на венки, душенька, в ночь на Купалу у брода быть нельзя, мы всегда уходим в поле». Купала здесь была не праздником, а датой. Как срок сдачи рукописи.

Утром я была у Арсения раньше, чем солнце коснулось холма. Он уже стоял у брода — конечно, уже стоял, — и когда я, не здороваясь, положила перед ним открытый дневник, он прочел строчку один раз, и лицо его не изменилось, и от этого мне стало хуже, чем если бы он испугался.

— Вы знали, что она будет писать, — сказала я. Не спросила.

— Я знал, что книга проснется, — сказал он. — Спала она

сорок лет, пока ее никто не читал по-настоящему. Валентина Марковна — она хорошая, но она читала как архивариус. Вы читаете как должника. — Он закрыл тетрадь и отодвинул ее от воды, бережно, двумя руками. — Поэтому она вам и пишет. Книги у воды — они не про прошлое, Таисия. Они про расчет. А расчет всегда настоящий.

— Там имя моего мужа.

— Я видел. — Он молчал, и река молчала вместе с ним, как будто они переглянулись. — У воды все книги двойные, говорила Валентина Марковна. Это она из меня переняла, не наоборот. Двойные — это значит: одна книга ведется на бумаге, а вторая — в проводках. Вода — она не читает. Она сверяет. Каждую ночь она сверяет, кто сколько взял и кто сколько отдал. Книга Евдокии — это сводка за один дом. Ваша книга, которую вы пишете, — сводка за одну усадьбу. А между ними — река. И река, Таисия, записала в расход не только вашего мужа. Она записала меня. — Он смотрел на воду. — И вас.

— Что значит «с процентами»?

— То же, что значило при Артамоне. — Он наконец повернулся ко мне. — Значит: за то, что взял, придется отдать больше, чем взял. Всегда больше. Вода не умеет прощать по частям — она либо прощает, либо взыскивает. — Пауза, зимнее поле. — Григорий Лаптин, вы сказали. Профессор. Библиография в четырех томах. А как он расплачивается — вы знаете лучше, чем книга. Книга только фиксирует.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.